

*Т. А. Кошемчук**

**ИСТОРИОСОФСКАЯ ИРОНИЯ И УБИЙСТВЕННОЕ
РАЗОБЛАЧЕНИЕ ИДЕИ ОСОБОГО ПРИЗВАНИЯ РОССИИ:
ВЗГЛЯД Э. Ю. СОЛОВЬЁВА НА ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННУЮ
ПОЭЗИЮ М. ВОЛОШИНА****

В статье проводится критический анализ понимания Э. Ю. Соловьёвым волошинских послереволюционных стихотворений. Показывается, что обнаруженная критиком противоречивость взглядов Волошина на особую миссию России не соответствует реальности. Тем более отсутствует в стихах и намерениях Волошина ироническое разоблачение идеи особого предназначения России в истории. В противопоставлении к точке зрения Э. Ю. Соловьёва выявляется волошинская историософская концепция в соположении его стихотворений, последовательно раскрывающих трагическое революционное настоящее в полярностях проявлений народной души и предустановленное будущее, пророчески Волошиным созерцаемое как Славия, как торжество духовной культуры. Путь к нему — вся трагическая история России, и поэт в отношении родины не ироник, как утверждает Соловьёв, но его позиция — готовность всецело разделить судьбу родины и благословляющая любовь к ней на всех ее путях.

Ключевые слова: М. Волошин, стихи о революции, пророчество, историософия, ирония.

T. A. Koshemchuk

**HISTORIOSOPHICAL IRONY AND KILLING EXPOSURE OF THE IDEA
OF A SPECIAL RUSSIAN MISSION: E. SOLOVJOV'S VIEW
ON THE POST-REVOLUTIONARY M. VOLOSHIN' POETRY**

The article provides a critical analysis of the E. Y. Solovyov's understanding of Voloshin's post-revolutionary poems. It is shown that the inconsistency of Voloshin's views on the special mission of Russia revealed by the critic does not correspond to reality. And even more the

* Кошемчук Татьяна Александровна, доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков и культуры речи, юридический факультет, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет; koshemchukt@mail.ru

** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «М. А. Волошин в отечественной литературной и философской критике» № 16–34–00032–ОГН.

ironic disclosure of the idea of Russia's special purpose in history — there is no such an intention in Voloshin's poems. In opposition to the point of view of Solovyov in the article the growth of Voloshin's historiosophical conception is shown as it is given in his poems. They are consistently revealing the tragic revolutionary present in the polarity of the manifestations of the soul of Russia and the predetermined future, prophetically contemplated by Voloshin as Slavia, the triumph of spiritual culture. The path to this future is the tragic history of Russia, and the poet is not ironic about Russia, as Solovyov claims, but his position is the complete readiness to share the fate of the Motherland and blessing love for it in all its ways.

Keywords: M. Voloshin, poems about revolution, prophecy, historiosophy, irony.

В статье «“Благослови свой синий окоем”. Космоперсонализм и историко-софская ирония Максимилиана Волошина» ее автор, философ Э. Ю. Соловьёв, воззвал к читателю с предложением проверить изложенную им гипотезу — свой взгляд на стихи Волошина о России, сущность которого дана им в словах «историко-софская ирония» и «убийственное разоблачение» идеи особой миссии России. Эта гипотеза Э. Ю. Соловьёва, изложенная во второй части его статьи, звучит как резкое, ироническое, высокомерное переосмысление утвердившегося в последние десятилетия понимания значительной и глубокой роли Волошина и его стихотворений в революционное время — после советских десятилетий высокомерного же, с советских позиций, третиования поэта как не понявшего сущность революции или как врага революции. Соловьёвская гипотеза эффективна и затейлива: Волошин, неведомо для себя, дал окончательную профанацию идеи будущего России. Философ-критик предложил ее проверить? Что ж, прямо говоря: гипотеза представляется легко опровержимой: достаточно перечитать стихотворения Волошина о революции. (О первой части статьи Э. Ю. Соловьёва, т. е. о приписанном Волошину *космоперсонализме*, речи здесь не идет.)

Названная статья была включена мною в антологию «Максимилиан Волошин: pro et contra», и совсем не потому, что я соглашаюсь с ее мыслями, но в силу ее характерности. Философы как литературные критики вообще моя давняя тема: пишут ли о Тютчеве, Фете или Волошине — они обычно не удостаивают поэта прочтения его текстов, тем более в полном объеме, но, вероятно по праву профессиональных мастеров мысли, маркируют поэтическое творчество философским ярлыком (пантеизм, агностицизм, антиперсонализм и проч.), опираясь на произвольно подобранные тексты. Но стихотворения поэта не главы трактата, а летопись внутренних переживаний мира, так что каждое восполняет общую картину, разворачивает, расцветивает ее, и мир поэтов-мыслителей сложен, многогранен, антиномичен, синтетичен... А сборник стихотворений дает цельную поэтическую концепцию души и мира, души поэта в мире, и в общей картине можно проследить лейтмотивные линии, порой сталкивающиеся, ибо живые, развивающиеся, пульсирующие от стихотворения к стихотворению; можно найти в них и кульминации, взлеты мысли, и порой симптомы угасания духа, даже разуверения, а также воздействия сопутствующих жизненных перипетий, и властный голос судьбы, и просто прихотливую смену душевных настроев... Впрочем, последнее совсем не относится к Волошину послереволюционных лет: его стихотворные молитвы и медитации о России тщательно продуманы, и мысли о России выражены ясно и точно. И — в последовательном движении поэтической концепции от раздела

к разделу (символисты в особенности ценили это качество сборника — быть единым и динамичным). В сотканной в результате картине стоит усмотреть и исходную религиозно-философскую канву, и созвучия с иными творцами, и первостепенно, без чего нет понимания, — увидеть личные прозрения поэта, его новое творческое слово. И что делают с поэтами философы-критики? Порой творчество поэта становится для них лишь материалом для утверждения собственной концепции или (и) для опровержения лично не близкой.

Вот одна из основных идей статьи Э. Ю. Соловьёва о Волошине:

Осмелюсь утверждать следующее: никакая рациональная критика не была так убийственна для надрывно-диалектической модели особого призвания России, как поэтическая и одновременно театральная игра с этой моделью, проделанная Волошиным в стихах революционных и послереволюционных лет. На мой взгляд, поэзия позднего Волошина вообще может рассматриваться как сцена для иронической проверки историсофских, прежде всего эсхатологических и пророческих идей. Другого поэтического опыта такого рода я не знаю. Это специфически русский вариант концепции и практики “*homo ludens*” [5, с. 436].

...Волошин в революционные годы *проделывает* театральную игру в стихах? *Игру с моделью... надрывно-диалектической... особого призвания России? Ироническая и убийственная проверка этой идеи? Концепция и практика “homo ludens”* у Волошина в годы революции? Всё это говорится всерьёз и даже с некоторой, не без скрытой иронии, похвалой Волошину: как же «убийственно» разоблачил он идею особой миссии России!

Стоит текст Э. Ю. Соловьёва прочитать — в присутствии Волошина. Вот обращение к поэту философа-критика, если собрать его прямые оценки в статье, без единого преувеличения: «Максимилиан Александрович, Ваши пророчества экзистенциально и метафизически — условны и незначимы! К тому же сугубо литературны. Все это Ваши игры, театральные приемы. Хуже, это Ваши, резко говоря, провираания! И вообще Вы лукавы, Вы циничны в Вашей мысли. И жизнь за Ваши пророчества Вы на кон не ставили. Ибо они у Вас постоянно меняются и отменяют друг друга по сути. Хорошо, правда, что Вы оставили эту надрывно-диалектическую модель особого призвания России в 1924 г. и обратились к более достойной жизненной философии».

Ответом Волошина можно счесть его слова, обращенные к М. Талю: «Ваши домыслы есть подтасовка...», «...я пишу четко и ясно, и надобно особо предвзятое мнение, чтобы вычитать в моих стихах то, что находите в них Вы» [3, с. 775].

Прежде всего о постыднейшем промахе критика: *жизнь за Ваши пророчества Вы на кон не ставили*. Ибо как раз жизнь в эти годы «Неопалимой купины» постоянно и осознанно ставилась Волошиным *на кон* — ради спасения жизни тех, кто был захвачен схваткой, ради того, чтобы остановить уничтожающих друг друга. Т. е. и ради «пророчеств». Ведь это неразрывно: мысли поэта о России и его жизненная позиция; его деяния вырастают из его понимания; спасенные десятки и десятки жизней — прямое следствие продуманных и утвержденных мыслей и неустанной воли к их осуществлению. Если понять и узреть опытно то, что в каждом Стеньке — святой Серафим, то в комиссаре-убийце («зверем зверь» [1, с. 322]) можно обращаться именно

к его светлому лику — и достигать желаемого, останавливать кровопролитие. Без пророческого знания подвиг жизни Волошина был бы немыслим. А равного этому жизненному подвигу поэта, длительному, творимому в годах, просто нет: кто еще из поэтов или их критиков смог спасти десятки обреченных на смерть, часто вовсе неведомых ему людей? Вспомним к тому: каждое стихотворение в пору террора писалось как последнее: **это КАК** не сравнительное, но — приравняющее: *на кон ставилась жизнь* при написании каждого — буквально — стихотворения, ибо арест и расстрел могли последовать за каждым стихотворением. И ведь Э. Ю. Соловьёв это знает.

Далее о ряде подробностей в приведенной общей оценке. Вот сам вызов критика, своего рода введение, с которого начинается вторая часть его статьи, посвященная историософии и жизненной позиции Волошина, в восприятии критика, — как *игровой теории и практике*:

Разрешите под этим углом зрения рассмотреть один из самых спорных, щепетильных и острых вопросов, а именно: как Волошин представлял себе судьбу России.

То, что я дальше собираюсь сказать, не кажется мне вполне достоверным. Скорее, это догадка, которую я предлагаю на суд и критику знатоков [5, с. 433].

«...на суд и критику знатоков». Знатоков? Можно и без этого весомого слова, просто я буду внимательно проверять волошинскими текстами те истолкования и оценки, которые предлагает критик, оговорив на всякий случай свою неполную в них уверенность, хотя далее тон статьи отнюдь не подтверждает наличия неуверенности.

«...под этим углом зрения...» — пишет критик, что следует пояснить: речь идет о принципе игры, вес которого у Волошина чрезвычайно преувеличен, а суть искажена в статье Э. Ю. Соловьёва; «принцип игры» взят им из театральных статей Волошина и огрублен *для понятности* (так это объясняется): если дать на сцене нечто в предельном виде, то это нечто будет тем самым спародировано и обращено в противоположное. Этот театральный принцип безоговорочно перенесен критиком на поэзию, хотя у Волошина две области искусства обладают значимыми различиями, им подробно проговорено своеобразие театра и отличие его от словесного искусства. И в результате неразличения законов разных сфер, театра и поэзии, критик приходит к следующему: поэт написал о будущей миссии России — и тем самым иронически исчерпал и спрофанировал эту идею, разоблачил ее. Но никогда Волошин не говорил, что выраженное в слове переживание тем самым пародируется или что написанное поэтом тем самым и отвергнуто им. Это звучит эффектно, но у Волошина этого нет. Эта неубедительная теория принадлежит Э. Ю. Соловьёву в целом. А если с этой точки зрения посмотреть на поэзию вообще, то получится картина всеобщего перепутывания: все ценности и все переживания, о которых пишут поэты, будут самим фактом их словесной выраженности — иронически разоблачены ими, каждая мысль поэта будет опровергнута и превратится в свою противоположность, как только будет написано стихотворение. Что ни напишет поэт — все станет ложью. Так можно выразить исходную мысль Э. Ю. Соловьёва в ее полной выраженности.

Но поэты не для этого пишут, чтобы опровергать и иронизировать. И нет у поэтического слова такого коварного саморазоблачающего свойства, уничтожающего поэзию в корне.

Еще одно попутное замечание: сколь часто говорящий о поэте выражается так: по Волошину..., с точки зрения Волошина... — далее следует мысль, которой Волошин никогда не высказывал, но которая близка самому автору. Примеры подобного примысливания у Э. Ю. Соловьёва это, собственно, вся предваряющая концепция *человека играющего*: «...молодой Волошин убежден в том, что *игрою мир спасется...*» [5, с. 432], что фантазия «возможно, и есть самое чистое из ниспосланных нам внезапных, космических дарований» [5, с. 432]; «молодой Волошин обрачался к миру с призывом “человек должен играть”, Волошин зрелый склоняется к императиву “человек не должен заигрываться”» [5, с. 432]. Волошин говорит «...об игре “второго порядка”, об игре с игрой, или о *чистой иронии*, которая позволяет человеку как бы извне, как бы из космических далей взглянуть даже на самую желательную, самую насущную свою фантазию и не сделаться ее экстатической куклой» [5, с. 432].

Ничего подобного Волошин НЕ говорил. Это не что иное, как мысли самого критика, собственные философские пристрастия, приписанные Волошину по весьма отдаленным созвучиям. Разве была у Волошина «утопия возрожденной детскости» [5, с. 432]? — которая... «напоролась на страшную реальность *эсхатологического и мессианского инфантилизма*» [5, с. 432]? Это — не о Волошине. Как и следующий фрагмент:

В годы революции Волошин использует этот прием для проигрывания (воспользовавшись едким словечком Достоевского, скажу резко: для поэтического «провирания») ряда галлюцинаторных идейных образований, которым — это существенно! — он в какой-то момент был искренне привержен сам [5, с. 433].

Такой задачи и, соответственно, приема — используемого для проигрывания идей до их профанации, или же, как *резко*, т. е. бесцеремонно, выразился критик, *для провирания*, у Волошина не было. И миссия России, о которой он неотступно думал в те годы, осмыслялась им всерьез, логично и последовательно. Не стоит Волошину приписывать моментальную и беспорядочную смену идей и восприятие идей как *галлюцинаторных образований*. Он не играл в идеи, ибо знал кармическую ответственность за мысли и реальную силу идей в воздействии и на мир, и на судьбу мыслящего. Волошин серьезен и ответственен в мире своих мыслей — и здесь сказала школа антропософии. По той же причине ирония была ему совсем не присуща. Поневоле хочется поставить вопрос: что в мыслительном мире философа подталкивает видеть иронию там, где у поэта скорбная, трагическая серьезность? А ведь словечко авторитетно пущено в ход, «ирония» уже появляется в некоторых волошинских публикациях... Юмор же Волошина — отдельная тема.

Философ-критик прочитывает волошинские стихи и обнаруживает в них *разброс* идей о миссии России, *несовместимых* друг с другом, и прежде всего — после гибели России в революции *будет* ее воскресение, или же *его не будет*:

В годы войны и революции Волошин пишет ряд сочинений о России, которые имеют характер эсхатологического предсказания. Оставлю в стороне самообъяснения, содержащиеся в «России распятой», — возьму только сами стихи.

Давайте положим рядом «Россию» (1915), «Святую Русь» (1917), «Мир» (1917), «Из бездны» (1917), «Европу» (1919), «Русскую революцию» (1919), «Неопалимую купину» (1919), «На дне преисподней» (1921), «Благословенье» (1923). Прочтя их, как заключённые в одной обложке, мы обнаружим невероятный разброс страстных ожиданий, которые не просто противоречат друг другу, но прямо друг друга отменяют [5, с. 433].

Далее в статье анализируются четыре из названных стихотворений, попробуем и мы найти в них взаимную *отмену*.

Вот целиком первый аналитический фрагмент критика.

В самом деле, в «России», «Святой Руси» и «На дне преисподней» родина осознаётся как Голгофа истории, где после страшных унижений и распятия должно произойти воскресение и полное историческое обновление человечества. Это стихи о парадоксально-трагической русской миссии [5, с. 433].

Воскресение и полное обновление человечества? Русская миссия? Перечитаем названные стихи — там, и в тексте, и в подтексте, об этом НИ ОДНОГО слова: ни о человечестве, ни о распятии, ни о полном обновлении, ни о миссии.

Но в «России» [1, с. 221–222] (1915) начальные строки дают волошинскую диалектику, первоначально важную для его постижения войны и революции:

Враждующих скорбный гений
Братским вяжет узлом [1, с. 221].

В военные годы, а потом еще глубже в русской катастрофе вражда двух станов видится поэтом духовно как единство и братство, согласно закону сверхчувственного единства противоположностей, который был первостепенен для волошинской мысли. То, что здесь, на земле, вражда, то духовно — любовь, и любовь на земле выявляется в градации форм — от низшего полюса, ненависти, до высшего, а общее чувство к жизни, покрывающее земные полярности, обычно называется по его высшему проявлению — любовью. Отсюда возможность трансформации форм в земном творчестве, движение от темного полюса к светлому. Отсюда и волошинские молитвы за тех и за других.

И еще одна ключевая мысль здесь же: скорбный гений. Во всех стихах о революции гений, ангел, серафим, бесы, демоны, сатана — всё это не метафоры и не *галлюцинаторные образования*, но реальные действующие в событиях силы, т. е. духовные существа, с которыми поэт имеет дело — в молитве и в противостоянии злу. И эта реальность полярных сил у Волошина во всем; Архангел России ведет ее предустановленным путем, Дух времени творит Высшую Волю в катастрофах истории, дьявол и бесы действуют в революции, но все муки и страдания имеют провиденциальный смысл, а демоны (часто глухонемые) есть лишь посланники, и действуют не от себя, о чем далее.

Всё стихотворение «Россия» — это проникновеннейшее признание в любви к России побежденной, в лике рабьем, униженной — и «сильной нездешней

верой», «осветленной всей красотой земли»; эту двуединую сущность России поэт задает в открывающем тему стихотворении. И завершает его молитва поэта к ней же, к России, — о понимании ее, о молитве за нее — о том, наконец, чтобы, как обращаясь к России, говорит поэт: «...стореть во имя твое». Это стихотворение первое в сборнике «Неопалимая купина», и в названии его та же двуединая сложность: горящая и несгорающая страна. Разве качества народной души образуют *разброс* или *отменяют* друг друга: рабий лик и смиренность не оборачиваются ли таинственной красотой и нездешней верой? Эти лейттемы, мыслимые только в высшем единстве, далее пройдут через весь сборник, усложняясь: рабство проявится, с одной стороны, в бунте, в жестокости мятежа, в буйстве стихии, оно обернется разгулом страстей, бездной греха; с другой стороны, рабство как смиренность даст свою высшую потенцию — святость. И все эти нарастания, резкие переходы и превращения, выбросы темного и сияние светлого, покрывает волошинская любовь, пронзительная, мучительная, неизменная, без единой ноты — во всем творчестве трагических лет — иронии или презрения (близких волошинскому критику, с явной отстраненностью его позиции). Даже в самом страшном лике ее:

Разве можно такую оставить... [1, с. 290]

Вплоть даже до своеобразного юродства (глубинный волошинский жест!):

В грязь лицом тебе ль не поклонюсь... [1, с. 258]

Разрушительное и страшное начало народной души выразилось в стихотворении «Святая Русь» (1917) [1, с. 257–258] — речь идет о разыгравшемся буйстве («*страстной* и буйный пламень») той, что была предназначена быть царевой невестой и наделена всеми дарами, о глубочайшем падении души Святой Руси, но и об этом — с благословением пишет поэт именно потому, что в страстном и буйном разгуле есть потенция истового покаяния и чистейшей веры. В самых трагических ликах народной души поэт не устает провидеть ее же свет: «Я ль в тебя посмею бросить камень?», «осужу ль» — тебя, такую, «во Христе юродивую».

Здесь просто НИ СЛОВА ни о воскресении, ни о распятии, ни об обновлении в истории.

Наконец, «На дне преисподней» (1922) [1, с. 347] — горчайшее стихотворение о «жребии русского поэта» — «памяти А. Блока и Н. Гумилева», и о собственной судьбе:

Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба [1, с. 347].

Здесь, в последнем двустихии стихотворения, действительно речь идет о Руси, проходящей свою Голгофу («Твоей Голгофы не покину...»), — и снова признание в верности: «не покину», «не отрекусь», умру с тобой, если придется умирать. Но говорится ведь — и о воскрешении Лазаря, возможно, критик здесь, в приведенных двух строках обнаружил воскресение России и обновление истории? — но ведь здесь звучит размышление о своей, собственной, участи:

я, поэт, возможно, погибну, как названные поэты, умру вместе с тобой, «горькая детоубийца Русь», и в условном модусе: встану, **если** (за текстом — по воле Христа, воскресившего Лазаря) — будет восстановлена и умирающая Русь. О миссии — ни слова, тем более о *парадоксальной*. Ни о полном обновлении человечества. Сказано, повторю, о себе следующее, если сгустить мысль поэта: умру ли, или встану — с тобой, умрешь ли ты, или восстанешь.

Читаем еще раз строки критика:

...родина осознается как Голгофа истории, где после страшных унижений и распятия должно произойти воскресение и полное историческое обновление человечества. Это стихи о парадоксально-трагической русской миссии [5, с. 433].

ТАК прочитаны эти три стихотворения критиком, что возникает предположение: не перепутаны ли названия? — настолько интерпретация расходится с их смыслом. Полный промах трактовки, полное невнимание к мысли поэта.

Цитирую второй фрагмент критика с переходом-противопоставлением: «Но «Мир» фиксирует совершенно иное переживание...» [5, с. 433] — какое же может быть *иное, отменяющее*, если предыдущие три — все разные? «Мир» (1917) [1, с. 259] — стихотворение Волошина, написанное после начала переговоров, приведших к позорному Брестскому миру, о *нашей*, всего народа, вине в этот исторический час. (И хронологически: может ли мысль этого стихотворения 1917 г. отменить ту, что высказана в стихотворении 1922 г.?)

Вот что о нем пишет критик:

Но «Мир» фиксирует совершенно иное переживание. Россию «проглядели, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали», народ сам выволок родину «на гноище, как падаль» и потому заслуживает нашествия с Запада и Востока. Только смиренно перенеся эту историческую кару, русский человек сможет искупить Иудин грех (грех предательства святой родины) до Страшного суда. Никакое воскресение здесь, в истории, ему не предстоит [5, с. 433–434].

Пересказ как будто верен, кроме последней фразы. В стихотворении: наше поколение, «мы», и интеллигенция (болтающая) и народ — в целом «мы», без разделения, «проглядели...». Это *наша* вина — и *нам* надо искупить наш грех предательства, надо успеть искупить через просимые, поволенные кары и страдания («О, Господи, разверзни, расточи, / Пошли на нас огонь, язвы и бичи...») — здесь все же не отстраненное, как у Э. Ю. Соловьёва: «*народ заслуживает...*». *Нам* надо успеть отстрадать — ДО Страшного Суда. Такова финальная покаянная мысль стихотворения — прошение кар, их перечисление, во искупление свершенного:

...Германцев с запада, Монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда! [1, с. 259]

Удивительно: вывод, последняя фраза критика в приведенном фрагменте не соответствует вообще ничему: «Никакое воскресение здесь, в истории,

ему не предстоит» [5, с. 434] — говорится о русском человеке. С чего бы? Ведь о воскресении русского человека и речи нет в стихотворении, ни о том, что оно будет, ни о том, что его НЕ будет.

Основная тема этого волошинского стихотворения, грех, взывающий к своему искуплению, будет продолжена в стихотворении «На вокзале» (1919) [1, с. 285–286], где мучительно, страдальчески описаны все бездомные, куда-то едущие, сорванные со своих мест, все сословия — *вся Россия*, и о ней упование поэта: из-за безмерности ее страданий не заслуживает ли она — уже сейчас — прощения? (А ведь это было лишь начало — 1919 г.)

Не всё ли и всем простится,
Кто выстрадал, как она [1, с. 286].

Отзовутся далее поволенные и сбывшиеся — сверх меры — муки, и «проглядели, проболтали...» — в «Заклятье о Русской земле» (1919) [1, с. 364–366]: «...встань, Русь! подымись, / Оживи, собери, срастись...»:

Чтобы мы его — Царство Русское —
В гульбе не разгуляли,
В пляске не расплясали,
В словах не разговорили,
В хвастне не расхвастали.

Чтоб оно — Царство Русское —
Рдело-зорилось
Жизнью живых,
Смертью святых,
Муками мученых [1, с. 365–366].

Так от стихотворения к стихотворению у Волошина разворачивается этот мотив грехов, действительно страшных, — но в предельной сгущенности их (стихотворения «Русь гулящая» [1, с. 289–291]), когда ни молитва, ни любовь не могут помочь, — распаивается и предельная светоносность, поэт призывает ее: «...чтоб о всей полноте бытия / Всенародно, всемирно, всезвездно / Просияла правда твоя!» [1, с. 290]. Это свершится — через страдания, воистину безмерные, которые не просто искупят и искупили уже грехи, но станут тем семенем, что принесет плод.

Об этом чаемом плоде — в стихотворении «Европа» (1918) [1, с. 266–268], в котором утверждается созревшее — неизбежное, замысленное свыше, прозреваемое поэтом претворение сожженной России в будущую Славия. Но я вновь привожу весь аналитический (весьма краткий) фрагмент критика:

В стихотворении «Европа» Волошин предается панславистской грезе, вновь настаивая на возможности эсхатологического парадокса: «России нет, она себя сожгла, но Славия воссветится из пепла» [5, с. 434].

Предается грезе? Панславистской? Эсхатологический парадокс? Здесь что ни слово, то неточность. *Вновь?* — как будто поэт то одно говорит, то другое, вновь грезит и настаивает...

В стихотворении Волошина речь ведется не от имени поэта, здесь говорит — «он», это, по слову К. А. Свасьяна — «Архангел России» [4, с. 685], который, с живым земным шаром в руке, как учитель, указывает на географические очертания России (урок эзотерической географии) и выражает предназначенное и неотменимое для России: сопряжение Востока и Запада (привычная для русской историософии мысль, но данная по-новому, сквозь призму географии, обоснованная ею), крест всемирного служенья (но в новом его проявлении в революционную эпоху), неизбежная и заданная высшими силами победа, несмотря на видимость поражения, и в итоге: вместо сожженной России — «... Славия воссветится из пепла!» Поэт здесь говорит не о текущем, но о будущем, о новом, славянском, этапе истории, который он обозначил именем Славии, объединяющим в себе полярности: раб и слава, — в этом видит он «великое предназначение» славянства. Здесь далекое будущее — неколебимая уверенность поэта в нем. Полное знание.

Это волошинская вариация темы зерна, павшего в землю, — в истории: в бездне, в гибели дух поэта «чует ростки неведомого восхода», в гибели России — семя будущей эпохи.

Для разума нет исхода,
Но дух, ему вопреки,
И в бездне чует ростки
Неведомого восхода [1, с. 260].

Разумом (умом — как известно) понять Россию и волошинские идеи о России — невозможно. Волошин дает *духовное* постижение происходящего, т. е. за внешними событиями он созерцает дух — не вообще дух, а конкретных духовных существ, действующих в истории. Познать их можно только *духовно*, и поэт знает: творит историю народа — его Архангел, и ведет трагическими путями: «...в крушеньях царств, в самосожженьях зла». Разуму, разумеется, подобное знание непонятно и представляется чем угодно: грезой, парадоксом, игрой, галлюцинаторным образованием. И здесь ничего не поделаешь.

Но в этом стихотворении — наконец обнаружена эта мысль критика! — Волошин действительно выразил идею, пророческую, особой миссии России: ее будущей трансформации в новую духовную эпоху.

Отметим, что подобное же превращение, перерождение одной культуры из праха в новую и совершенно иную свою фазу, Волошин находит в истории Рима, о чем говорит стихотворение (того же 1918 г.) «Преосуществление» [1, с. 264–265], и поэт приветствует это трагическое таинство истории:

Так семя, дабы прорасти,
Должно ислеть...
Истлей, Россия,
И царством духа расцвети! [1, с. 265.]

Но вернемся к критику: далее, по логике своей мысли, он должен привести иное стихотворение, которое бы отменило эту волошинскую убежденность? Да, именно так:

Однако менее чем через год в «Китеже» он рисует мало сказать не столь масштабную, но просто убогую и фарсовую перспективу исторического восстановления:

*Вчерашний раб, усталый от свободы, —
Возрощит, требуя цепей.
Построит вновь казармы и остроги,
Воздвигнет сломанный престол,
А сам уйдет молчать в свои берлоги,
Работать на полях как вол... [5, с. 434].*

В стихотворении «Китеж» [1, с. 279–281] нет широкого историософского полотна, распаханного вглубь истории и в ее грядущие дали. Речь идет вновь о народе в революции, причем о черном народе, способном на вспышки протестов и безумий, но вновь всякий раз возвращающемся неизменно к своему вековому терпению. Здесь ближняя перспектива — окончание бунта. Но народ дан в той же полярности: в нем и рабство, и разгул стихии, он же несет в себе идеал града Китежа — так тема «России» зазвучала здесь с новой силой, в ее исторической динамике: после вспышки буйства — вновь возобладает терпение, смирение, тяжкий привычный труд. Но где же здесь усмотренный критиком *фарс*? Есть — горестная, скорбная мысль, «диалектика» бунта. Раб отбушевавший потребует рабства, империя возродится — вместе с жесткостью ее форм и с терпением раба — говорит Волошин, но здесь критик оборвал цитату, подчеркивая именно *убогость* исторического восстановления, упустив главное в стихотворении, названном ведь — «Китеж»: народ вместе с возвращением в тяжкий труд и покорность, «от угольев погасшего пожара / Затеplit ярую свечу» — вновь звучит знакомая нам волошинская мысль: безудержность бунта таит потенцию безмерности же в религиозном чувстве. Русь останется «землей взыскующей любви» — все повторится, не только бунт и восстановленное рабство, — и Китеж, «наш неосуществимый сон», наш идеал, утраченный в пору буйства, снова оживет, гудящий «на дне души», — в этом пафос стихотворения «Китеж», рисующего ближний и неизбежный исход из эпохи бунта. И здесь не пророчество, но логика истории с повторяемостью ее существенных коллизий.

Пророчество во всех этих стихах было одно: Славия, итоговая победа. Но как, когда? Пророк не знает сроков — это одна из волошинских мыслей. Видение будущего, эта имажинация не локализована на временной оси, но она как высший, сверхразумный источник знания дает поэту возможность говорить о Славии тоном полной убежденности.

Философ-критик, настаивая на противоречивости пророчеств, в завершение аналитической (это слово хочется поставить в иронические кавычки) части статьи запретил читателю вносить правки в данную им картину:

На мой взгляд, было бы серьезнейшей ошибкой как-то упорядочивать эти поэтические пророчества, сводя их к «общему знаменателю» или подразделяя на пробные и зрелые, выстраданные или подсказанные настроением. Все поэтические пророчества Волошина равноподлинны и равнозначны... [5, с. 434]

Конечно! Именно ТАК упорядочивать НЕ нужно. При внимательном чтении стихи сами, без нажима, выявляют стройное целое — стихи поэта со-

прягаются по высказанным в них СМЫСЛАМ и выраженным переживаниям. Разве все отмеченные стихи решают одну проблему — исторического будущего и воскресения — будет оно или не будет? Да, сказано о будущем — в логически безупречном временном развороте: о будущей чаемой расплате нашего поколения, о близком историческом будущем народа-бунтовщика, о пророчески предначертанном будущем сожженной России — Славии. Без единого противоречия в цельной концепции.

Далее в статье Э. Ю. Соловьёва следует оценка, фантазия на неподлинной основе, выводы из несуществующей картины:

Все поэтические пророчества Волошина равноподлинны и равнозначны, но именно потому, что в метафизическом и экзистенциальном смысле все они условны и незначимы. Не вызывает сомнений, что Волошин готов умереть за Россию и вместе с Россией при любой провиденциальной перспективе. Однако это еще вовсе не означает, будто сами эти перспективы (воскресения, Божьей кары, успокоения в новом рабско-монархическом порядке) он выбирает так, что на кон ставится жизнь («убейте, если мое прозрение ложно или хотя бы этически необоснованно») [5, с. 434].

Хорошо. Обратим сказанное на его автора. А сам автор статьи может сказать: «Убейте, если моя трактовка ложна или хотя бы этически, по отношению к поэту, не могущему ответить сейчас, — этически необоснованна»?

Но продолжим — перейдем к следующей мысли статьи: критик берется проверять волошинские идеи через гипотетическое восприятие Герцена и Вл. Соловьёва и других, у которых в данном случае

мы находим надрывно-диалектическую версию особого исторического призвания России. Страна наша как раз потому предназначена к высочайшим и чистейшим историческим свершениям, что она отстала, не запятнана грехами западного прогресса и слишком давно пребывает в крайних несчастьях и «образе рабьем». Это верование чревата лукавством и вызывает критико-иронический ход мысли: если ты действительно так думаешь, признай, что тебе следовало бы любить и ценить Россию в самом ее убожестве. Поэт Волошин принимает на себя эту последовательность. В 1915 г. он пишет:

Люблю тебя побежденной,
Поруганной и в пыли...
Люблю тебя в лике рабьем,
Когда в тишине полей
Причитаешь голосом бабьим
Над трупами сыновей.
Сильна ты нездешней мерой,
Нездешней страстью чиста,
Неутоленную верой
Твои запеклись уста...

Приняли ли бы этот текст Герцен, Михайловский или Вл. Соловьёв? Думаю, что нет. Между тем это их стихи текст [5, с. 435].

Полагаю, что читатель уже увидел слабое место этого размышления, редуцирующего волошинскую мысль. Надо было бы сказать не об одном

убожестве и рабстве, но о нераздельности его со *святостью*, со страданием, с чистотой, с верой. Я думаю, что Вл. Соловьёв сумел бы оценить эти мысли и саму любовь поэта.

Наконец, решающий ход критика. Вновь цитирую полностью:

Но этого мало, существуют и более внушительные акты свободного поэтического воображения. Если движение от убожества к торжеству есть действительное призвание России, значит, сам Бог хочет именно такого движения и все несчастья России суть не что иное, как Божья благодать. Волошин с цинической последовательностью реализует этот вывод в великолепном и жутком стихотворении «Благословенье». Бог в нем говорит:

*Благословение моё как гром.
Любовь безжалостна и жжет огнем.
Я в милосердии неумолим.
Молитвы человеческие — дым... <...>*

Возможно ли, чтобы Герцен, Михайловский или Вл. Соловьёв приняли эту жестокую версию Бога-ироника? Приемлема ли она вообще для любого христиански гуманистического защитника особой миссии России? Думаю, нет. И вместе с тем версия эта с логической необходимостью предполагается упомянутой моделью российского призвания. Если история наша совершается по правилу «чем хуже, тем лучше», значит, русский Бог есть Бог манихейский, неотличимый от дьявола. — «Здесь Родос, здесь прыгай!» [5, с. 435–436].

Эта цитата есть сплошь перепутывание, здесь точно *попрыгал* и порезвился дух лжи! Прочитаем этот ход мысли с необходимыми поправками и с учетом выведенного выше.

Волошинские мысли о предначертанном для России в стихотворении «Благословение» [1, с. 291–292] еще более головокружительны, они возводятся к кульминации: здесь говорит сам БОГ, ему предоставлено слово поэтом. Если двуединство греха и святости ведет Россию через трагедии к будущему исполнению новой духовной эпохи — как это задумано свыше, то необходимо продолжить: ради этого все несчастья ее даны, по Божьей воле. Волошин последовательно и неизбежно влагает эту мысль в уста Бога в *великолепном и жутком* (как прекрасно выразился Э. Ю. Соловьёв [5, с. 435]) стихотворении «Благословенье». Бог в нем говорит России:

*Благословение мое как гром!
Любовь безжалостна и жжет огнем.*

*Из избранных тебя избрал я, Русь!
И не помилую, не отступлюсь.*

Ты — лучшая! Пощады лучшим — нет.

*А из тебя, сожженный Мной народ,
Я ныне новый выплавляю род!* [1, с. 291–292]

Если Герцен и Михайловский и не приняли бы эту *идею*, как и вообще идею Бога, то Вл. Соловьёв, думается, смог бы принять такого Бога — ответственно-

го за все происходящее в истории, Бога, не впервые отдающего Свое лучшее, в данном случае лучшее историческое творение, Россию, во власть всех бед, всех дьявольских сил, как бы ни молила она в своем *слишком человеческом* — о благополучии, мире, спокойствии (это не ее удел)! Нужно переплавить ее темную стихию — ДО КОНЦА, ибо она, Россия, — лучшая, а пощады лучшим — НЕТ, они выполняют неотменимую миссию. Так и о России: замыслено неизбежное торжество впереди, и оно дастся дорогой ценой, для этого нужен *новый, выплавленный* в страшных испытаниях *род*. Пусть Вл. Соловьёв не видел и грана подобных бед, что выпали на долю Волошину, но принять волошинскую мысль в ее доведении до логически неизбежной кульминации он бы смог. Это неизбежно и для нас, если мы хотим быть христианами (а не гуманистами). И лукавое усмотрение здесь правила «чем хуже, тем лучше» не оправдывает нашей неготовности додумывать мысли всерьез. Русский БОГ может быть только БОГОМ, который не перекладывает на дьявола ответственности за все трагедии русской истории, но учит СВОЙ народ пониманию СВОИХ путей в истории — и готовности, подобно Волошину (и волошинскому Иову), как бы лично ни было велико страдание, научиться, осмелиться, принять... помоги Господи! — ответ на вопрос: «Таким мой мир приемлешь ли?» — «Приемлю».

Заключение. Философ-критик высказывает свое личное и главное в конце — в похвале Волошину за то, что он *освободился* после 1924 г. от своих *пророчеств*! Это ведь фактически не так: Волошин только и пишет далее, что о русской святости, да еще последнее — о русской иконе, продолжая и развивая тему России. Но критику кажется, что поэт отказался от пророчеств, в *которые играл раньше*, и стал сторонником *теории малых дел* — «достойнейшего философского воззрения» [5, с. 436] (по оценке критика), понял, что надо жить текущим днем и забыть об особой миссии России. Здесь Э. Ю. Соловьёв цитирует стихи из «Дома Поэта», ставшие названием его статьи, несущие основную, по его мнению, мысль — урок нам: «Благослови свой синий окоем». *Живи достойно и стоически малым, собой и вселенским достоинством своей личности!* — таковы проповедь критика и его воззвание к нашему времени. Это идеал именно критика, но не поэта: как же поэту жить *малым*, «служить... мирской локальности» [5, с. 436], если у него, согласно цитируемому стихотворению «Дом Поэта», *неистощимая душа, всемирно насыщенная память*, как у всей земли, если он несет в себе не фигурально, а реально «*весь трепет жизни всех веков и рас*» [2, с. 82], а значит ведь и России. Но философу угодно надменно иронизировать о трагических стихах поэта и о самой идее особой миссии России в истории, более того, примысливать поэту собственную «историософскую иронию». Замечу вскользь: опору он находит в отношении Бунина к Волошину. Последнее существенно как проблема: Бунин несет в себе и трагизм, и острое переживание полярных ликов России в ее истории, но два трагизма контрастны по духовной тональности: сенсуализму Бунина глубоко чужд спиритуализм Волошина. И здесь драматическое столкновение двух миров. Философ-критик же смотрит извне, сужая Волошина до *малости* собственной стоической теории.

И здесь уже можно высказать приблизительный ответ на начальный вопрос этой статьи — о непонимании: философ несет в себе и строит свою

философию — и она есть то мутное стекло, сквозь которое он смотрит на мир и на поэзию, не видя не-своего, но из всего выстраивая аргументы в пользу своего. Вот и Волошина можно похвалить за то, что он, Волошин, СМОГ понять и принять ту именно жизненную философскую позицию, которую считает наилучшей и *достойнейшей* сам философ Эрих Юрьевич Соловьев.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волошин М. А. Собр. соч. — М.: Эллис Лак, 2003. — Т. 1: Стихотворения и поэмы 1899–1926.
2. Волошин М. А. Собр. соч. — М.: Эллис Лак, 2004. — Т. 2: Стихотворения и поэмы 1891–1931.
3. Волошин М. А. Собр. соч. — М.: Эллис Лак, 2013. — Т. 12: Письма 1918–1924.
4. Свасьян К. А. Максимилиан Волошин // М. А. Волошин: pro et contra. Личность и идейно-художественное наследие М. А. Волошина в оценках отечественных писателей, мыслителей, исследователей. Антология / сост. Т. А. Кошемчук. — СПб.: ЦСО, 2017.
5. Соловьев Э. Ю. «БЛАГОСЛОВИ СВОЙ СИНИЙ ОКОЕМ». Космоперсонализм и историософская ирония Максимилиана Волошина // М. А. Волошин: pro et contra. Личность и идейно-художественное наследие М. А. Волошина в оценках отечественных писателей, мыслителей, исследователей. Антология / сост. Т. А. Кошемчук. — СПб.: ЦСО, 2017.